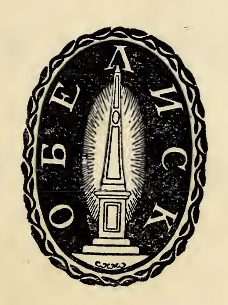
Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ

# РУССКАЯ СТИХИЯ
# У
# ДОСТОЕВСКОГО

ОБЕЛИСК
1923

Н. Котикъ



Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВ

# РУССКАЯ СТИХИЯ
# У
# ДОСТОЕВСКОГО

ОБЕЛИСК
БЕРЛИН
1923

Gedruckt bei Sinaburg & Co., Berlin.

Русская стихия — она чувствуется каждым русским, как непонятная и непередаваемая иностранцам сущность русской души, русского характера, русской судьбы, даже русской природы. Нужно сознаться что и нам самим она не вполне понятна — „умом Россию не понять“ — уму непонятна, хотя близка и знакома и родственна, ибо мы живем в ней и из нее рождены, из этой иррациональной стихии. Теперь уже иностранцы начинают ее чувствовать — „das Russentum“, говорит Шпенглер, и переживает это, как особую стихию, глубоко отличную от западно-европейской культуры.

Шпенглер думает, что нужно ее понять, нужно — даже для запада. Но и нам нужно ее понять, чтобы не погибнуть в ее стихийности, чтобы не потонуть в ее бурях и вихрях... А может быть — будем верить в это — чтобы создать из этого хаоса русской души новый прекрасный Космос.

Достоевский верил, что мы создадим нечто великое для всемирной культуры. „Народ Богоносец“ — это звучит теперь наивно и претенциозно. Но его вера не наивная вера, она прошла через горнило величайших сомнений. Все произведения Достоевского вовсе не напоминают наивность Руссо, Толстого, с их верою в добрый народ, в сущность человека, которую вы тотчас получите во всей чистоте, лишь только уничтожите власть тиранов, или всякую власть вообще: человек уже готов для земного рая — уничтожьте досадное заблуждение власти, и все устроится.

Достоевский обладал, напротив, редкой зоркостью ко злу; чувство первородного греха, „das radikale Böse“, живет повсюду в его произведениях... Можно подумать, читая их, что он желал изобразить преступность, нигилизм, тиранство и лакейство русской души; грязь, пьянство, разврат, тьму русской жизни, ее призрачность, ее дикую фантасмагорию... Я вполне понимаю, что один немец, очень культурный и философски образованный, мог сказать мне, что произведения Достоевского внушают ему отвращение к России. Это так и должно быть, ибо в изображении Достоевского мы видим прежде всего х а о с стихийных сил, и в этом хаосе замечаем прежде всего разгул зла, безумия, болезни душевной. Может-ли быть что нибудь более неприемлемое для представителя германской культуры с ее порядком, с ее здоровьем, с ее чувством долга?

Но Достоевский верит, что из русской хаотической стихии создастся дивный Космос, он, значит, видит в ней не одно только безумие, распад, преступление, но и еще что-то другое — какую-то бесконечную мощь, какие-то таинственные возможности. Ведь в хаосе содержится потенциально все — и добро и зло и гармония и диссонанс, и красота и безобразие, в нем все титанически нагромождено и дико смешано. Такова и русская душа, полная невероятных противоречий, и она связана с русской природой, с ее могучими контрастами. Разве природа Италии, Франции, Германии знает контрасты огненного лета и ледяной зимы, бога Ярилы и деда мороза с его вьюгами, разве там есть эти снежные пустыни и раскаленные степи, где гуляет ветер. А медленное таяние меланхолической весны, а завывание осеннего ветра?

„О чем так воешь ветр ночной,
О чем так сетуешь безумно?
Что значит этот голос твой,
То глухо-жалобный, то шумный?“

Так говорит поэт, познавший связь русской природы и русской души с хаотическим началом в мире; он говорит о той-же самой русской стихии, о которой все время думает и пишет Достоевский. Быть может, я лучше сумею показать, какую стихию я здесь разумею, если приведу эти всем известные слова. Представьте себе, что они прямо обращаются к Достоевскому, и они зазву-

чат для вас совсем по новому и откроют некоторую таинственную сущность его творчества:

„Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке
И будишь и взрываешь в нем
Давно умолкнувшие звуки.

О, страшных песен сих не пой
Про древний Хаос, про родимый,
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой.

Из смертной рвется он груди
И с беспредельным жаждет слиться,
О, бурь заснувших не буди,
Под ними Хаос шевелится!"

Здесь высказано в одном слове и сразу то, что есть в этом хаосе могучего и сильного: это — беспредельность, жажда души слиться с беспредельным; есть беспредельность в русской природе и в русской душе, она не знает ни в чем предела: в этом ее трагизм, порою ее комизм, иногда ее гибель, но всегда своеобразное величие!

Душа запада закована в пределы, она вся оформлена и потому ограничена. Душа России неоформлена; она полна страшных неопределенностей, она безо́бразна, и потому порою безобразна... Что Достоевский прежде всего усмотрел на западе? Его поразил порядок, дисциплина души, завершенность форм. „Париж — это самый нравственный и самый добродетельный город на всем земном шаре. Что за порядок! Какое бла-

горазумие, какие определенные и прочно установившиеся отношения... так — сказать затишье порядка... И какая „регламентация“, не внешняя, конечно, а колоссальная, внутренняя, духовная, из души происшедшая“. „А Лондон... исполинская мысль“, достижение, победа, торжество: „в этом колоссальном дворце... что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось.“ „Какбы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это-ли, в самом деле, достигнутый идеал?“ Но почему-же страшно? разве плохо достигнуть идеала? Вот загадка русской души — она как-бы любит бесформенность, незавершенность. И если французы самый нравственный народ в силу душевной дисциплины и порядка, то вывод очевиден: самый безнравственный народ — это русские. Достоевский, конечно, этого не думает, но в силу чего? Здесь поставлена основная проблема его творческой мысли: проблема русской стихии.

Во всех произведениях Достоевского изображена эта русская стихия, и в сущности только она одна. Он обладал по отношению к ней редким пророческим ясновидением. И если среди спокойного затишья 80-х и 90-х годов, когда русская стихия дремала, и не было даже слышно подземных ударов, если тогда можно было говорить о Достоевском „больной талант“ и „глубокий психолог преступления“, полагая при этом, что он какой-то криминальный писатель, изображающий

жизнь ненормальную, исключительную, невероятную, то теперь, когда русская стихия разбушевалась и грозит затопить весь мир, — мы должны сказать о нем, что он был действительным ясновидцем, показавшим нечто самое реальное и самое глубокое в русской действительности, ее скрытые подземные силы, которые должны были прорваться наружу, изумляя все народы, и прежде всего самих русских.

Что-же такое эта русская стихия? Достоевский для ее изображения пользуется средствами искусства. Трудно было-бы подойти к ней иначе, ибо имеешь дело с элементом иррациональным, невыразимым в понятиях. Его искусство гениально; поразительно, как он извлекает и показывает скрытую правду. Но теперь, когда она уже запечатлена в образах, можно попытаться дать и ее философский и психологический анализ.

И так что такое эта стихия? Она есть нечто духовно-душевное, нематериальное, хотя она связана с материальной природой и из нее черпает порою свои настроения. Это стихия души, стихия страстей, море страстей с его бурями. И оно бушует не только в сфере одинокой индивидуальной души, но и в отношениях между индивидуальностями, в сфере социальной, в душе народа. Достоевский все время видит сам и показывает читателю, что душевная стихия таинственна в своей сущности и скрыта в своей глубине, ее нельзя понять из того, что разыгрывается на

поверхности; если она выбрасывает порою совершенно неожиданно то лаву, то пепел, то огонь, — то это в силу процессов скрытых, подпочвенных, происходящих под порогом сознания.

В русской душе эта бессознательная и подсознательная стихия играет особенно важную роль — отсюда те удивительные взрывы и вспышки, которые взрываются из души его героев.

Вот Ставрогин, красавец и „барич“, человек сверхчеловеческой силы, сумевший снести удар по лицу без всякой христианской кротости князя Мышкина, сверхчеловек, в которого влюблялись все женщины и делались его рабынями, а мужчины тоже рабствовали и лакействовали перед ним. Ему Верховенский, который поцеловал у него руку, хотел вручить знамя Стеньки Разина „по необыкновенной способности к преступлению“, а Шатов хотел вручить ему знамя „народа Богоносца“, знамя православия, и сделать его действительным Иваном-царевичем. И оба были проницательны, умели выбирать людей и искали героя для своих целей: один для целей разрушения, другой для целей созидания. И странно — оба сошлись на Ставрогине. Вот настоящее воплощение мощи русской стихии, которая как-бы создана для того, чтобы совершить нечто великое, от которой все ждут, что она совершит нечто великое; ну, и что-же? что она совершает? Ничего, — хаос, бессмыслицу, дикое нагромождение добра и зла, которое кончается самоубийством.

Прикусывает губернатору ухо, женится на хромоножке, по словам Шатова, потому, что „тут позор и бессмыслица доходили до гениальности“..., „вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен! Ставрогин и жалкая, скудоумная, нищая хромоножка.“ Предается скотскому разврату, так что „Маркиз де-Сад мог-бы у него поучиться“; „не знает различия в красоте между какою-нибудь сладострастною зверскою шуткой и каким угодно подвигом, хотя-бы даже жертвой жизнью для человечества...“, „в обоих полюсах находит совпадение красоты, одинаковость наслаждения“. В конце концов „теряет различие добра и зла“.

Дикая, хаотическая, но бесконечно-мощная стихия. Самообладание его моментами так громадно, что он сносит публичную пощечину от Шатова, и затем с царственным, полупрезрительным великодушием предупреждает, после пощечины, Шатова о грозящей ему смертельной опасности.

Ум Ставрогина мощен. Все самое великое и самое страшное, что носилось пред Достоевским, он вкладывает в его душу, приписывает; ему, и затем еще близкому по идеям и вообще однородному по стихийности — Ивану Карамазову. Над этой мощной стихией первозданного хаоса могли носиться только мощные формирующие идеи, и они были Бог, Христос и православие, с одной стороны („народ-богоносец...“ и „атеист не может быть русским“...); и полный атеизм, ниги-

лизм, бунт и разрушение — с другой стороны („сравнять высокие горы“ и „все сжечь и разрушить...“). Как он сам формулирует в одном месте в разговоре с Шатовым, отвергая „разные пищеварительные философии“: „ведь мы с вами знаем, что все это вздор, и что есть только две инициативы: или вера, или жечь.“

Ставрогин не выбрал того или другого: формирующие силы оказались бессильными, хаос бушевал по прежнему, и он погиб в нем; его Я не могло овладеть стихийными силами, бушевавшими в душе и оно погибло; в чем-же? в стихии безумия (галлюцинации, самоубийство, явление злого двойника).

Вот русская стихия во всем ее трагизме. Никакого оптимизма, никакого самохвальства! Самые мрачные пророчества! Но сила ее, мощь этого хаоса, то дающего огонь, взлетающий к небу, то падающий на землю пепел, смрад, разрушение и землетрясение, его напряжение — огромно. Ставрогин так говорит о себе сам в письме к Даше, где он вполне откровенен: „Я пробовал везде мою силу. Вы мне советовали это“, чтобы узнать себя. „На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною. На ваших глазах я снес пощечину от вашего брата; я признался в браке публично. Но к чему приложить эту силу — вот чего никогда не видел...“; „я все тот-же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и

ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие".

В записных книжках Достевского мы находим материал к „Бесам", очень ценный, выбранный Н. Н. Страховым. Тут мы прямо встречаем подтверждение нашего понимания „русской стихии" и Николая Ставрогина, как ее порождения и воплощения:

„Тип из коренника, бессознательно беспокоимый собственною титаническою своею силою, совершенно непосредственною и не знающею на чем основаться. Такие типы из коренника бывают часто или Стеньки Разины или Даниилы Филипповичи, или доходят до всей хлыстовщины и скопчества. Это необычайная, для них самих тяжелая непосредственная сила, требующая и ищущая на чем устояться и что взять в руководство, требующая до страдания спокою от бурь и не могущая пока не буревать до времени, до успокоения. Он уставляется наконец на Христе"—так верует и так надеется Достоевский—„но вся жизнь — буря и беспорядок. (Масса народа живет непосредственно, тихо и складно, коренником, но чуть покажется в ней движение, т. е. простое жизненное отправление — всегда выставляет эти типы)."

Дальнейшие слова Достоевского уже прямо характеризуют то, что мы назвали „русской стихией":

„Необъятная сила непосредственная, ищущая спокою, волнующаяся до страдания, и с радостью

бросающаяся во время исканий и странствий – в чудовищные уклонения и эксперименты до тех пор, пока не установится на такой сильной идее, которая вполне пропорциональна их непосредственной животной силе — идее, которая до того сильна, что может, наконец, организовать эту силу и успокоить ее до елейной тишины".

Здесь говорится о Николае Ставрогине, но стихия, в нем живущая, присуща в конце концов всем героям Достоевского, как женщинам, так и мужчинам: разве не все они живут в буре и беспорядке? волнуются до страдания? бросаются в искания и странствия, в чудовищные уклонения и эксперименты? Да и не в них одних живет эта таинственная подсознательная животная сила: она действительно и в Стеньках Разиных, и в Пугачевых, и в хлыстовстве, и в скопцах. Это древне-русская стихия, яростная стихия бога Ярилы, уходящая во тьму времен. Недаром Грушенька говорит: „неистовая я и яростная". И все его женщины неистовы и исступленны и готовы резать себя на части и терзать ради оскорбленной гордости, ради любви и ради воображаемого подвига.

Русская стихия всюду трепещет в произведениях Достоевского, он говорит почти только о ней одной, но большею частью в образах и воплощениях, как художник; редко он определяет ее прямо и непосредственно, как философ. Мы

привели одно место поразительной яркости и точности, определение, сделанное для себя и не напечатанное в романе. Но есть и другое место, совершенно ему соответствующее и вошедшее в роман „Идиот". Вот что говорит там князь Мышкин:

„И не нас одних, а всю Европу дивит, в таких случаях, русская страстность наша; у нас коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть стало-быть и мечем! Отчего это, отчего разом такое исступление?"

„И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как-бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль."

„Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались... Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже может и поглубже еще!"

„Есть в нас какое-то Колумбово искание „Нового света!"

Здесь удивительное раскрытие русского национального характера, загадочного и странного; и оно дается через проникновение в сущность русской душевной стихии, обладающей поразительной степенью напряжения. И это та-же самая стихия, глухо кипящая под порогом сознания, те-же подпочвенные вулканические силы, которые в од-

них индивидуальностях взлетают гордым пламенем к небу, в других текут неудержимым потоком горячей лавы, ползущей по земле, в третьих — твердеют серой корою, делающей душу как-бы телесною. Все три типа людей — пневматики, психики, гилики, т. е. люди духа, люди души и люди тела — сформированы у Достоевского из одной и той-же стихии, — точнее не сформированы, а пытаются ее формировать.

Характеры люциферианского и прометеевского типа, как Ставрогин, Иван Карамазов, Раскольников и даже Кириллов, по иному переживают русскую стихию, чем, например, Рогожин или Дмитрий Карамазов. Их пламенеющий дух все время ищет неба, их замыслы титаничны, но есть раздвоение, есть „дух отрицанья, дух сомненья" и потому падение назад, в стихию безумия. Это люди духа, русские философы, но как они непохожи на западно-европейских критиков и скептиков! Русская стихия, над которою витает их дух, делает их вулканическими, трагическими; ненахождение всекосмического центра делает их не насмешливыми, а безумными.

Иначе живут в родной стихии такие, как Рогожин и Дмитрий Карамазов. Их Я фатально пленено страстями души, оно захвачено потоком горячей лавы, но эта лава течет из тех же странных, скифских, азиатских вулканов, и в ней восточный фатализм, какая-то древняя мудрость земли:

„Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья,
Бессмертья, может быть, залог!“

В любви они сознают гибель, любовь для них фатальна, женщины, которых они любят, для них „инфернальны“. Дмитрий называл Грушеньку „инфернальной“ женщиной, но и Настасья Филипповна инфернальна для Рогожина, она не сияет для него небесным светом, он не видит ее вечного, божественно-прекрасного прообраза, который открыт князю, а потому его любовь скорее похожа не на умиление, не на жалость, а на ненависть, и она приводит его к убийству, приводит его в infernum. Подобно Ромео, он влюбляется в нее с первого взгляда, бесповоротно и навсегда. И страсть его, по силе напряжения, не уступает юному итальянскому любовнику, но это другая стихия: там солнце любви, стремительный ритм действий, красивый жест, пластика, форма; здесь пьяный угар, мрак душевный, темный хаос бессознательных и нецелесообразных действий. Как и Ромео, он является на бал со свитою друзей; но какая безобразная и нелепая полупьяная свита! и зачем он привез ее? И какая бессмыслица: торгует за деньги женщину, за которую трижды готов умереть! Однажды даже избивает ее до синяков — свою „королеву“! Нам скажут, что Ромео был рыцарь и дворянин; но Митя Карамазов тоже был дворянин и офицер, однако во многом он

действует, как Рогожин — в нем та же стихия и он так же бессилен ее преодолеть.

В Рогожине громадная подсознательная мощь страстей, унаследованная от предков; там она проявлялась иначе: в мрачном самовластьи, в тихом скрытном накоплении денег; „у нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить", говорит Рогожин, — „одна расправа, убьет!" Этот родитель „говорил, что по старой вере правильнее. Скопцов тоже уважал очень".

Есть поразительное прозрение в эту таинственную рогожинскую природу в следующих словах князя:

„А мне на мысль пришло, что если бы не было с тобой этой напасти, не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь в точь, как твой отец бы стал, да и в весьма скором времени. Засел бы молча один в этом доме с женой, послушною и бессловесною, с редким и строгим словом, ни одному человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем и только деньги молча и сумрачно наживая. Да много много, что старые бы книги когда похвалил, да двуперстным сложением заинтересовался, да и то разве к старости..."

И такая же гениальная интуиция содержится в словах Настасьи Филипповны. Как и князь, она все поняла, увидав мрачный рогожинский дом, взглянув на портрет родителя:

„Ты вот точно такой-бы и был... У тебя, Парфен Семеныч, сильные страсти, такие страсти, что

ты как раз бы с ними в Сибирь на каторгу улетел, если б у тебя тоже ума не было, потому что у тебя большой ум есть... Ты все это баловство теперешнее скоро бы и бросил, а так как ты совсем необразованный человек, то и стал бы деньги копить и сел бы, как отец, в этом доме со своими скопцами; пожалуй бы, и сам в их веру под конец перешел, и уж так бы свои деньги полюбил, что и не два миллиона, а пожалуй бы и десять скопил, да на мешках своих с голоду бы и помер, потому у тебя во всем страсть, все ты до страсти доводишь".

Здесь, в рогожинском доме, живет особый модус русской стихии. Как не узнать, не почувствовать, что это все та же она — и в скопцах и в древних самосожигателях, и в сжигающих страстях Парфена!

А вот еще один странный и дикий модус той же субстанции:

„Два крестьянина, и в летах, и не пьяные, и знавшие уже давно друг друга, приятели, напились чаю и хотели вместе в одной каморке ложиться спать. Но один у другого подглядел, в последние два дня, часы серебряные на бисерном желтом снурке, которых, видно, не знал у него прежде. Этот человек был не вор, был даже честный, и, по крестьянскому быту, совсем небедный. Но ему до того понравились эти часы и до того соблазнили его, что он наконец не выдержал: взял нож и, когда приятель отвер-

нулся, подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькою молитвой: Господи, прости ради Христа! — зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы".

Внезапно вспыхнувшее желание достигает такой стихийной силы, что опрокидывает все препятствия. Это бывает у детей, у дикарей... изумительно здесь это ясное сознание греха, это чувство присутствия Бога. Бог не потерян, но Я потеряно, человек „не в себе", самообладание потеряно; нет центра воли, а образовался какой то неожиданный преступный центрик, вокруг которого завертелись все страсти и все силы; это как бы бесовский центрик: „бес попутал", говорит в таких случаях народ. Трудно после этого обвинить Достоевского в идеализации руского народа. И сколько, сколько еще раз желание украсть часы будет внезапно и стихийно определять поступки руского человека!

А этот потрясающий случай с расстреливанием причастия, рассказанный Достоевским, это странное состязание парней в руской деревне: „кто кого дерзостнее сделает?" Быть может это дикое патологическое исключение, которое в счет не идет? О нет, совсем не так думает Достоевский. Этот факт и эти типы, по его мнению, —

„в высшей степени изображают нам весь руский народ в его целом. Это, прежде всего, забвение всякой мерки во всем (и, заметьте, всегда

почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-то навождением). Это — потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до крайности, свеситься в нее на половину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее, как ошалелому, вниз головой".

Не ту же ли стихию изображает Пушкин? Но только, как поэт и как сын иного века, он изображает ее в красоте, в романтической дымке:

„есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю"...

Достоевский скептичнее, сатиричнее; он не романтизирует русскую стихию, он говорит ту же правду о ней, но говорит горше Пушкина. Его Рогожин и Митя Карамазов менее красивы, чем Алеко, но это братья по крови и духу.

„Любовь-ли, вино-ли, разгул, самолюбие, зависть — тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего; от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительнейшим безобразником и преступником, — стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни."

Но замечательно: несмотря на этот самый крайний скепсис, несмотря на самую горькую

правду о русском человеке, несмотря на самое неумолимое исповедание его грехов, Достоевский никогда не теряет веру в Россию и русский народ. В той же самой русской стихии, в ее могучем напряжении он черпает свою уверенность: в стихийности есть аффект, жажда бытия, которая не может остановиться на разрушении. Как это ни странно, в самом разрушени есть бессознательный аффект бытия, жажда какой-то полноты, невоплощенной в этой остановившейся и затвердевшей жизни. Встретившись с чистым небытием, аффект бытия поворачивает назад, он не хочет конца, он хочет бесконечности. Так, думается мне, можно объяснить веру Достоевского, вложенную в его дальнейшие слова:

„Но зато с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, т. е. когда уже идти больше некуда". Причем Достоевский убежден, что „обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьёзнее прежнего порыва — порыва отрицания и саморазрушения..." и что „в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе".

Залогом этой веры является наличность русской стихии, ее напряжение. Пока есть аффект

бытия, будет порыв самосохранения; если он иссякнет, если стихия охладеет — тогда ничто не поможет, никакая дисциплина, никакая цивилизация.

Есть и еще одна, совсем особая, категория характеров у Достоевского, тоже являющихся воплощением русской стихии, но только особенно редким и ценным. Это князь Мышкин, Алеша Карамазов и Зосима. Если правда, что хаос есть смесь добра и зла, нагромождение всех потенций, то в хаосе русской жизни, среди безумств и преступлений, должен когда нибудь сверкнуть и луч небесный, в волнах этой темной стихии должен отразиться и лик Божества. И вот эти три лица являются такими вестниками из иного мира; в них есть нечто ангельское, и оно роднит их с люциферианскими характерами — недаром Иван так любил беседовать с Алешей о предельных вопросах бытия — роднит в одном: они тоже люди духа, высокого предельно-ищущего духа, а не души и не тела; они тоже пневматики. Но только им чужд „дух отрицанья и сомненья,“ они нечто нашли и увидели и хотят показать людям.

Вся жизнь князя Мышкина сплошной хаос и беспорядок, он неловок в движениях, светски неприличен, неудержим в слове, в выражении внезапных чувств, неистов в своих объятиях, протянутых навстречу людям. Это вполне русская стихия, но только в добром аспекте. Он в силах снести удар по лицу с кротким величием христианина, и здесь даже нет могучего желания само-

преодоления, как у Ставрогина, здесь все счастливый дар, все благодать. И все его мысли, часто гениальные, — всегда внезапное наитие, прозрение. Он говорит как Пифия, в „божественном умоиступлении“, и говорит часто пророчески. Все лучшие пророческие свои идеи Достоевский вкладывает в его уста. Все он знает и понимает; он знает русскую стихию, знает ее разрушительный уклон, знает страшную предстоящую опасность:

„Извините меня, надо уметь предчувствовать... Нам нужен отпор и скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор западу наш Христос!“

А петербургский „хладный свет“ сановников и бюрократов говорит этому одержимому, этому бестактному молодому человеку: успокойтесь, успокойтесь, не волнуйтесь так, все это преувеличено; какой отпор, какое предчувствие? Католицизм, социализм, атеизм — все это интересно конечно, но вовсе не так для нас важно. „Хладный свет“ давно потерял всякую связь с русской стихией, она в нем давно остыла и окаменела, он даже не подозревает, что она существует. Но князь живет в ней, кипит в ней, и это то, что в нем шокирует.

Есть однако и в ангельском аспекте русской стихии нечто странное, индивидуально-руское, чуднȯе: это юродивость, какое то отсутствие таланта формы, умения формировать, отсутствие пластики, жеста. Русское добро часто принимает этот неуклюжий вид. Вспомним Пьера Безухова

у Толстого, даже и Левина. Но поразительно об этом говорит сам князь Мышкин: „Я всегда боюсь моим смешным видом скомпрометировать мысль и главную идею. Я не имею жеста. Я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и унижает идею. Чувства меры тоже нет, а это главное; это даже самое главное"... Какая здесь глубокая противоположность латинской расе!

Если эта юродивость порою смешит и сердит в князе, то все же сияние подлиннной любви притягивает к нему сердца женщин и мужчин. В нем русский аффект бытия становится аффектом любви, но не ревнивой и корыстной, а всеобъемлющей и мистической. Он любит Настасью Филипповну „ж а л о с т ь ю, а не любовью" (и это тоже глубоко народная форма любви); он любит, наконец, двух женщин — ее и Аглаю, и никто этого не понимает; а все дело в том, что он их любит святой, мистической, христианской любовью: „конечно люблю ту и другую", отвечает он, не задумываясь, на прямой вопрос. Есть в нем и моменты прикосновения к мировой гармонии, как бы созерцание рая:

„Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят"...

Но вот что трагично — именно в этот момент восторга, и после этих самых слов, князь падает

в припадке падучей. Мы ведь и забыли, что он все же „Идиот“, он вышел из стихии безумия и снова упадает в стихию безумия. Какой страшный символ! Неужели Россия всегда одержима и в добре и в зле? Неужели нам даны лишь мгновения болезненного экстаза, лишь в священной болезни можем мы созерцать иные миры?

„Мы в небе скоро устаем
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем“...

Поэт повидимому думает, что для нас неизбежны такие падения:

„Вновь упадаем не к покою,
Но в утомительные сны“...

Значит — в стихию безумия, она всегда сторожит нас, и освободиться от нея, овладеть ею можно лишь освободившись от всякой одержимости, найдя свое Я, овладев собою.

Как бы с целью показать, что это возможно, Достоевский ставит перед нами образы Алеши Карамазова и Зосимы. В них осуществлено то, о чем он мечтал: русская непосредственная сила наконец „организована“ и „успокоена до елейной тишины“. Но русской жизни они все-же не организуют пока, до поры до времени. Быть может, этот старец и этот послушник образы далекого прошлого, а может быть им предстоит далекое будущее. Алеша проходит как-то безмолвно, хотя любовно, через ад и чистилище земного круговорота; он весь устремлен в какую-то бес-

конечную даль — быть может, в будущее своего народа, быть может, в иные миры, из которых он пришел. Достоевский делает их живыми и дает почувствовать их силу, но все-же райские видения, как и у Данте, оказываются более бледными, чем пластические, осязаемые образы ада.

Но не только живет эта могучая древняя стихия в сильных героях Достоевского — в Ставрогине, в Иване Карамазове, в Мите, в князе Мышкине, в Настасье Филипповне и Грушеньке; ее можно почувствовать и узнать и в самых презренных и мелких людях — в Федоре Павловиче, в Смердякове, в Фоме Опискине, во всех этих генералах, приживалах и приживалках..., она живет в пьяном разврате, в кутеже, в слезах, в словесном блуде, в угнетении, в лакействе — везде какое то своеобразное радение и верчение, везде хаос подсознательных душевных сил, везде отсутствие настоящего Я и самообладания. Не люди действуют, а страсти и животные поползновения владеют ими, бесы действуют, крупные и мелкие; а внезапно отразится лик Божества в этом кипящем хаосе, в этом море... отразится и потухнет.

Русская стихия роднит у Достоевского всех, великих и малых, в одном удивительном признаке: в необыкновенном напряжении аффекта бытия, в стремлении как можно полнее воплотить себя, занять самое универсальное место в мироздании. Самые мелкие и пошлые „бесы“ больше всего боятся быть нереальными, незаметными, они изо

всех сил стараются доказать свою реальность и жаждут воплощения. Черт Ивана Карамазова хочет воплотиться в семипудовую купчиху — надежная и заметная реальность! Русский человек, говорит Достоевский, изо всех сил спешит заявить себя — „заявить себя в хорошем или в поганом". Если он находится в состоянии падения, то он будет играть роль шута, как Федор Павлович или генерал Иволгин с его героическим враньем, но только бы не пройти незамеченным, только бы поразить воображение, произвести эффект, в крайнем случае — замешательство или скандал. Достоевский часто изображает небъятное, непропорциональное ничему, и несообразное ни с чем самолюбие русского человека: чем ничтожнее его Я, тем более оно себя раздувает; эти пузыри земли хотят раздуться до пределов мироздания, и чем более знают свою пустоту, тем более озлоблены, отравлены завистью. Известна поразительная, стихийная обидчивость русских людей, и особенно русских мальчиков. Они должны быть недотрогами, ибо мыльный пузырь может лопнуть при каждом прикосновении. Самая яркая индивидуальность этого рода — Фома Опискин:

„Фома Фомич есть олицетворение самолюбия самого безграничного, но вместе с тем, самолюбия особенного, именно: случающегося при самом полном ничтожестве, и, как обыкновенно бывает в таком случае, самолюбия оскорбленного, подавленного тяжкими прежними неудачами, загноив-

шегося давно-давно, и с тех пор выдавливающего из себя зависть и яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче.“

В нем воплощена русская стихия, одержимая бесом деспотизма, „похотью господства“ (выражение Августина). Она странным образом зарождается в состоянии угнетения. Здесь какая-то удивительная диалектика страстей: „наверстал таки он свое прошедшее! Низкая душа, выйдя из под гнета, сама гнетет. Фому угнетали — и он тотчас-же ощутил потребность сам угнетать; над ним ломались — и он сам стал над другими ломаться.“ Здесь Достоевским поставлена еще другая проблема: трагедия села Степанчикова есть трагедия власти и подчинения. Как властвует Фома, при помощи какого гипноза он подчиняет себе людей более умных, более добрых, чем он? Это странная загадка. „Люди“ говорит Достоевский, „считали все это за чудо, за навождение, крестились и отплевывались.“

Похоть господства, как одно из проявлений русской стихии, изображена была затем Чеховым в образе унтера Пришибеева.

Достоевский ненавидит, конечно, сам своего Фому Опискина, но все-таки он видит в его душе некоторый трагизм, и как-бы некоторое извращение когда-то существовавшего человеческого достоинства. Падение есть во всех подобных типах, но пасть может лишь тот, кто когда-то стоял, кто хоть мгновение был на высоте.

„Кто знает, может быть, это безобразно вырастающее самолюбие есть только ложное, первоначально извращенное чувство собственного достоинства, оскорбленного в первый раз еще, может быть, в детстве — гнетом, бедностью, грязью, оплеванного, может быть, еще в лице родителей будущего скитальца, на его же глазах?“

И в этих ничтожествах повторяется вечная трагедия и комедия потенциально-бесконечной души человека, „бесконечного в возможности“, по выражению В. Соловьева, и „ничтожного в действительности.“ Русская стихия воплощает ее по своему в странных изломах и навождениях.

До сих пор мы рассматривали русскую стихию у Достоевского так сказать статически — в ее сущности, в ее особенностях и модификациях, в ее носителях и воплощениях. Но ее необходимо рассматривать динамически — в движении, в развертывании событий, в смене страстей; только здесь она раскрывается вполне, ибо она неустойчива и динамична по существу.

В романах Достоевского всегда происходит нагромождение событий, которые завершаются сценами высшего напряжения. Они странны, хаотичны, иррациональны, стихийны. Герои действуют наперекор рассудку, не отдавая себе отчета, потеряв власть над событиями; подпочвенные течения в душе влекут к поступкам. В конце концов действуют не сами люди, а неведомые им скрытые стихийные силы.

Не сами — это чрезвычайно важно: они одержимы какими-то неистовыми силами, иногда им самим непонятными, одержимы бесами крупными и мелкими. Часто это бес уязвленной гордости, необъятного самолюбия, бес господства и раболепия, бес предательства и бес разрушения святынь и надругательства... Но это не сам человек: его самость как будто куда-то ушла.

„Разве вы такая, какою теперь представлялись? Да может-ли это быть!“

Это говорит князь Настасье Филипповне, после знаменитой сцены у Иволгиных. Конечно, это не она сама, не сама сущность ее души говорила эти слова цинического самоунижения, направленного к унижению других:

„Я ведь и в самом деле не такая, он угадал, — прошептала она“...

И мгновенно вся одержимость исчезла, демон гордости удалился.

Вспомните эту знаменитую сцену, когда Галя ударяет князя по лицу, или другую, когда Настасья Филипповна бросает деньги в камин. Есть что-то общее во всех этих сценах Достоевского, где совершается какое-то чудовищное нагромождение событий, накопление страстей невероятного давления, какой-то бесовский шабаш всеобщей одержимости, поистине сумасшедший дом. Здесь Достоевский становится драматургом и великим драматургом и здесь то он и раскрывает динамику русской стихии. Как непохоже это стихийное

движение на развитие западно-европейской драмы!

Совсем другой ритм событий; быть может даже полная аритмичность. Здесь герои теряют себя и несутся в какую-то бездну... Здесь есть русское „Эхма!“ или „пропадай моя телега“... Вихрь, кружение, мятель, бесы:

„Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам“...

Никто не идет прямо к своей цели, каждый действует и говорит себе во вред... разгулялись духи стихийных сил и никто не может их заклясть. Иногда они мощны и страшны, иногда мелки, смешны и подлы — эти духи... Иногда их хоровод становится широким, почти всеохватывающим: вспомните бал у губернатора в „Бесах“ — стихия разрушения, дерзновения вырастает из хулиганства и грозит разлиться до пределов страны. Все здесь непохоже на западно-европейскую трагедию: там действующие лица действуют по целям, частью добрым, частью преступным, сталкиваются, борются... Здесь — бесцельный вихрь, никто не действует, никто не строит жизни, последовательны и сильны только разрушители, как Верховенский, здесь много личин и мало лиц, мало кто нашел свое лицо, даже свою главную страсть. Все движется, все переливается, все неопределенно и беспредельно.

Стихия страстей есть, конечно, во всякой душе и во всяком народе. Нет истории, нет трагедии без страстей. Но западно-европейская трагедия дает картину формирования страстей центром самосознания, а Достоевский показывает странную картину бесформенности страстной стихии, над которой беспомощно и удивленно стоит высшее Я, постоянно бросающее свою душу на произвол низших сил, на произвол стихийных вихрей, где образуются центры вращений, затягивающих душу в круговорот, эфемерные формирующие центры всяких одержимостей, мешающих истинному самообладанию. А где же высшее Я? Может быть, его и нет совсем у русского человека? О нет, напротив, оно очень гордое и высокое; только оно не может никак найти какой-то точки опоры, без которой нельзя творить. И творить как-то не хочет русский человек и дух его пока „носится над бездной". Все он думает, выбирает, не решается; все готовится к какому-то великому подвигу, для которого нужно сначала решить предельные вопросы. А запад строит ежедневную, насущную жизнь и без решения этих вопросов.

„Э! К чему предрешать, — вскричал Шатов, — на тысячу лет вперед!.. Будем жить в современности, делая лишь насущное дело, не сомневаясь, что Бог поможет впоследствии.

— Попробуйте ужиться! — засмеялся князь (Ставрогин), и вышел". (Материалы к „Бесам").

Да, неуживчив русский человек, не может ужиться ни с другими, ни с самим собою: все ему жизнь не по плечу — мелка, пошла, ничтожна. Взыскует он какого-то града. В этой уродливости есть великая правда: он ищет непременно отношения к **вселенскому** центру, оттуда должны итти формирующие силы, к нему должен тяготеть формирующий центр микрокосма, центр самосознания. Пока центр великий не найден, нет и центра малого, жизнь остается **эксцентричной**, хаотичной, антиномичной, раздвоенной; а при могучем напряжении русской стихии это приводит к безумию, к раздвоению личности, к злому двойнику, как у Ивана Карамазова и Ставрогина.

Где творческие индувидуальности у Достоевского? творится-ли космос из русского хаоса? или ничего не реализуется из этого моря возможностей? Ставрогин и Иван Карамазов ничего не творят, хотя могли-бы — и по мощи душевной стихии и по силе ума, но они не решили с кем идти: „с Тобою, или с ним". То же самое можно сказать и о Раскольникове, и о Кириллове — все это „чудовищные эксперименты," имеющие целью решить предельные вопросы, без которых ничего делать и не стоит. Дмитрий Карамазов и Рогожин не строят жизни, ибо их дух, всецело и фатально погружен в стихию страстей, и даже еще **не поднимался** над этой бездной, не витал над ней, ища формирующего центра. Женщины Досто-

евского не делают жизнь, потому-что они рождают жизнь, они носительницы стихийного начала души по преимуществу, они могут показать из этого темного лона „лик Мадонны“, но могут и погрузить мужскую душу в „неистовую и яростную“ хлыстовскую стихию. Семена Логоса должны упасть в души женщин, а Логос есть мужское начало; если бесплодны в творчестве мужчины, то бесплодны и женщины, и гибнут бесплодно.

Наконец не строят никакой жизни и положительные типы: князь Мышкин и Алеша Карамазов; это пожалуй особенно странно — ведь они несомненно нашли вселенский центр и находятся в сфере его притяжения, в них есть подлинная святость, божественная любовь, самообладание. Ведь лишь только Алеша уверовал, что есть Бог и бессмертие, как тотчас и решил „буду жить для Бога и бессмертия“, и решил уже бесповоротно и без колебаний. И все же они оба только странники в миру, юродивые, монахи, ангелы Божие, восхищающие и привлекающие сердца, но не творящие жизни. Жизнь течет мимо них, течет по своим законам. Они не делают этой жизни так же, как не делают ее старцы настоящего монастыря, как не делает ее Зосима. Достоевский знал, что это великие светильники жизни, маяки, — но не корабельщики, не лоцманы.

Не делает жизни, конечно, и бессмертный тип русского либерала, Степан Верховенский:

„Воплощенной укоризною
Ты стоишь перед отчизною
Либерал-идеалист“...

Фигура совершенно пророческая для всего развития русского либерализма: из „идеи“ вытекает только „укоризна“ и единственное реальное дело всей жизни — это уход, предсмертный протестующий уход Степана Трофимовича! Впрочем, в нем русская стихия пооcлабла и поостыла: ведь он не холоден и не горяч, он тепл... Как он поразился, прочтя впервые, в конце жизни, эти слова! Тут уже нет ничего стихийного и мало осталось русского, разве только русское неделание.

Но есть одна личность у Достоевского которую, хотя нельзя назвать творческою, ибо она занимается делом противуположным, однако следует признать необыкновенно деятельной, активной, настойчивой и последовательной — это Петр Верховенский, крайний антипод и противник своего отца (как символично: отца!). Он лучше знал и понимал русскую стихию, чем „либерал-идеалист“ и даже сам имел в себе нечто стихийное, хотя конечно в отрицательном полюсе. Это тоже личность пророческая и в нем раскрывается великое ясновидение Достоевского. Без этой личности нельзя понять русскую стихию и ее будущее. Вот его программа:

„Я делаю дело, потому что надо делать. С этого (с разрушения) естественно всякое дело должно начаться; я это знаю, а потому и начи-

наю... а прочее все болтовня и время берет. Все эти реформы, и поправки, и улучшения — вздор". „Нужно все разрушить, чтоб поставить новое здание, а подпирать подпорками старое здание — одно безобразие". Он „ужасно иногда невежествен" и „совершенно спокоен в своем невежестве". И народа он, собственно, не желает узнавать и изучать: „Мне, собственно, до народа и до знания его нет никакого дела. Я знаю, что смуту теперь можно сделать в народе и все тут". Ему отвечают, что и смуту он не сделает, не зная народа... „Это вздор, — отвечает он, — дайте мне четверть часа только поговорить без цензуры с народом, и он тотчас за мною пойдет". Когда его уверяют, что народ гораздо крепче сидит, он говорит: „Ну, вот вздор", и показывает факты — разбои, поджоги, фон-Зон.

Эта показательная характеристика Верховенского-сына мало известна, ибо она извлечена не из романа, а из записных книжек Достоевского. В ней концентрирована вся сущность этой личности. Верховенский угадал одну сторону русской стихии, и сам есть ее воплощение.

Но кто же в конце концов делает русскую жизнь, ежедневную, насущную? Кем держится государство и строится общество? Романы Достоевского дают нам один ответ — ясный и неумолимый: ее делают те, кто занят не совершением дел, а устраиванием „делишек". Губернатор-немец, который клеит картонные домики, аристократи-

ческая бюрократия, занятая борьбою честолюбий, сплетнями, пенсиями, любовницами, выгодными браками, залогами имений... и наконец — Федор Павлович, Фердыщенки, Лебедевы, Иволгины... все эти мелкие бесы, которые в баню любят ходить и стараются воплотиться в семипудовую купчиху. Вот кто строители жизни — это гилики, люди тела, те самые, души которых и за гробом заняты той же гнилью, как это изображено в страшном рассказе „Бобок".

Значит она, эта жизнь, творится не прометеевски, огонь не похищается с неба, она творится без духовного начала, люди духа бездействуют? Удивительно ли, что лава охлаждается, лопается и рассыпается в прах?

Но может быть жизнь эта опирается на народную массу, которая живет „тихо-складно, коренником"? О нет, фундамент непрочен: там разбои, грабежи, украденные часы, хулиганство и богохульство. Верховенский прав: если масса начнет что-то делать, она прежде всего начнет разрушать.

Безгранично презрение Верховенского - сына к русской жизни и русской интеллигенции. Все, по его мнению, одна болтовня и провождение времени; особенно он презирает либеральную болтовню. Он совершенно циничен, ибо ничто вокруг не кажется ему заслуживающим уважения. Но он уважает русскую стихию в модусе разрушения. Он целует руку Ставрогина, ибо видит в нем огромную разрушительную силу. Мэоническое

должно быть погружено в небытие. Таков философский смысл этого духа. Он дух отрицания в квадрате: negatio negationis. Неумолимая диалектика истории осуществляет в нем отрицание тезиса и переход к какому-то, ему самому неведомому, антитезису. Он страшен, этот жрец небытия в своем двойном отрицании; он не различает добра и зла, он интриган, — но все же есть нечто в нем, заставляющее задуматься, есть великая историческая проблема, почти чудо. Его нельзя уничтожить никакою логикой и никакою этикой, ибо он выражает русскую стихию в ее историческом модусе, в ее судьбе.

А что, если правда мэонична русская жизнь, та жизнь, которую изображают нам Гоголь, Лев Толстой, Чехов, а главное, и больше всего — сам Достоевский? Жизнь Хлестакова, Чичикова, мертвых душ — разве это подлинная жизнь? разве дух веет здесь? А тоскливые тени Чехова, мечтающие о том, что будет через 100, 200 лет, разве это не эфемерное бытие, не царство теней? Толстой с своим могучим аффектом бытия уж, кажется, творит наиреальнейшие образы, но весь он, вся его душа — в сознании неподлинности этой жизни. Что-то здесь не так, в этой дворянской культуре, даже все не так; нужно уйти от нее, прикоснуться к природной стихии, уйти в землю, ниспасть, и затем начать совсем иной путь восхождения. Но сам Достоевский всех определеннее высказывается: в его изображении русская

жизнь есть сплошное бесовское наваждение, сплошная одержимость, фантасмагория, призрачные туманы Петербурга, „утомительные сны“... Если русская стихия жива, если она действительно есть аффект бытия, то она прежде всего должна желать разорвать эту дымовую завесу, рассеять эти удушливые газы, уничтожить все формы, все перегородки, разбить все оковы, все переплавить, все погрузить в хаос, и затем начать строить новый космос. Иначе говоря, русская стихия должна вступить в фазис революционный. Дворянски-интеллигентская аристократическая культура завершила цикл развития и пришла к распаду, к „семейке“ Карамазовых. Самый умный и сильный из этого мира, Ставрогин, говорит так: „Я прежде судил нигилизм и был врагом его ожесточенным, а теперь вижу, что и всех виноватее и всех хуже мы, баре, оторванные от почвы, и потому мы, мы прежде всех переродиться должны; мы — главная гниль, на нас главное проклятие и из нас все произошло“.

Но, может быть, это неправда, может быть, это клевета, может быть прекрасна, уютна и богата была русская жизнь? Как многим и сколько еще раз будет приходить эта мысль! Если так, то значит неправа вся русская литература, начиная с Пушкина, ибо это она осудила и похоронила старую Россию; если так, то не имел Пушкин права сказать высшему свету:

„В разврате каменейте смело!“

И народной массе:

„Паситесь, добрые народы,
Вас не разбудит чести клич!
На что стадам дары свободы?
Их надо резать, или стричь!“

Но нет, в словах этих правда, и еще надолго в русской истории они сохранят свою правду.

Наконец, оставим всю русскую литературу и вспомним наше самочувствие, основной мотив всей нашей жизни: разве это не было сплошным сознанием какой-то неправды, постоянной жаждой переродиться, постоянным стремлением что-то изменить, начать какую-то новую жизнь, которая всегда не удавалась?..

Нет, кто хочет творить жизнь, никогда не должен оглядываться назад, иначе он разделит судьбу жены Лота.

Теперь ясно, почему у Достоевского нет творческих личностей, почему творческое, прометеевское начало, петровское начало исчезло из русской стихии. А ведь Петр был классическим ее воплощением когда-то — „он весь, как Божия гроза!“ — Петровская Россия достигла возможного совершенства, окаменела, и одряхлела. Русская стихия вступает в фазис великих переворотов, разрушений и землетрясений. И Достоевский, как пророк, видит судьбу России.

Ясно также, почему носители божественного, гармонического начала не деятельны. Здесь великая проблема: Зосима в затворе, его брат уми-

рает молодым, Алеша в молчании, князь — в падучей. Это так оттого, что время еще не пришло для них, они лишь семена далекого будущего, семена Логоса, но они должны попасть в родную землю, которую еще всю предстоит поднять, перепахать и разрыхлить; иначе, на этом камне, на этой коре они погибают бесплодно: их любят, ими восхищаются, над ними смеются, на них смотрят, как на иконы, но никто не берет их в серьез. „Не оживет, аще не умрет"... вот пророчество Достоевского. Россия должна пойти „путем зерна":

„Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна."

Так говорит современный поэт, угадывая пророчество Достоевского.

И вот еще другое прозрение этого духовидца: беснование русской стихии должно дойти до предела, до полного выявления из ее недр и полного выделения всего самого низкого — бесы должны войти в стадо свиней и свергнуться в бездну.

Видит-ли Достоевский ясно грядущую судьбу русской стихии? тот уклон, который ей предстоит? Не вполне. Как все духовидцы, он видит отчасти, „как бы в зерцале, как бы в гадании" и выражает свое видение в символах. С другой стороны, быть может, он видит многое, чего еще мы не видим, и мы не знаем, исполнятся-ли все его пророчества. Он не думал, что Петру Верховенскому принадлежит такая грандиозная роль. Он делает ему уничтожающие возражения. Но, с другой сто-

роны онъ знает, что его невежество побеждает странным образом всякую логику. И он допускает возможность и такого пути. В своих эпиграфах он даже предначертывает именно этот путь зерна.

Все великие русские писатели знали, переживали, воплощали и любили русскую стихию. По отношению к Пушкину это отлично показал Гершензон. В нем он угадал русскую стихию и через ее переживание нашел истинный подход к пониманию русской литературы. Его мысль глубоко родственна моему пониманию Достоевского и сущности русской души. Это ясно из следующих прекрасных слов:

„Как из-за Уральских гор вечно несется ветер по великой русской равнине, день и ночь дует в полях и на улицах городов, так неусыпно бушует в русской душе необъятная стихийная сила, и хочет свободы, чтобы ничто не стесняло ее, и в то-же время томится по гармонии, жаждет тишины и покоя". „И Лермонтов, и Тютчев, и Гоголь, и Толстой, и Достоевский, они все обожают беззаконную, буйную, первородную силу, хотят ее одной свободы, но и как тоскуют по святости и совершенству, по благолепию и тишине, как мучительно, каждый по иному, ищут выхода."

Мне кажется только, что в обожании беззаконной стихии ни у Пушкина, ни, тем более конечно, у Толстого и Достоевского — нет никакого имморализма. Достоевский в своей знаменитой речи понял Пушкина, как глубочайшего мо-

ралиста, и он, пожалуй, прав. Стихия может быть и беззаконной и преступной и вдохновенно героической, и в ней все смешано, но дух великого поэта, витающий над нею и творящий из нее образы, никогда не смешивает добра и зла, прекрасно различает их, хотя равно прекрасно изображает и добро, и зло и их стихийное смешение. В этом особенность русской души, в этом отличие Достоевского от Ницше. Западный дух, если влюбится в стихийность, непременно станет „по ту сторону добра и зла". Так было со времен Цезаря Борджия и Бенвеннуто Челлини.

Как удивительно Пугачев приковывал внимание Пушкина. Это потому, что в нем с большой яркостью воплощена русская стихия. Ее можно было-бы проследить во всей русской истории. Иван Грозный, самозванцы, Петр, Пугачев, Стенька Разин и, наконец, Распутин — все это русская стихия в странном многообразии своих модусов.

И вот есть для России, для русского народа две опасности: погибнуть от напряжения стихии и от иссякновения и охлаждения стихии. Море может поглотить в своих бурях, но может и иссохнуть в полном затишье. Нужно формировать русскую стихию, но так, чтобы форма не убила живой материи, не иссушила материнского лона. В этом лежит разгадка отношения Достоевского к западно-европейской цивилизации и к переносу ее форм в русскую стихию. И не один Достоевский боялся здесь тепло-хладности европейской

гуманной уравнительной цивилизации... С другой стороны Достоевский понимал, что без формирующего центра грозит гибель в стихии безумия и преступления.

Где-же выход? Он в том, чтобы найти свое Я, высокое, божественное по происхождению, прекрасное в своей скрытой сущности; в том, чтобы это Я овладело стихийными силами страстной души и того, что лежит ниже души, той „животной силы“, которая живет под порогом сознания, и которая корнями своими погружена в живое тело; все эти темные обители стихийных сил дух должен пронзить своим лучем, просветить, преобразить, оформить. Тогда даже напряжение пороков преображается в добродетели, по мысли Ницше, которого, кстати сказать, роднит с Достоевским тоска по потере стихийной мощи в западно-европейской цивилизации.

Что нужно для этого? Нужно овладеть собой, нужно создать прочный центр духа, преодолеть центробежные силы страстей и бессознательных стихий, нужно постоянное самопреодоление, постоянная концентрация растекающейся и разбегающейся души, ибо мощь души, как указал еще Августин, есть концентрация. И вот Достоевский постоянно возвращается к понятию самообладания. Русскому человеку, русской стихии более всего не хватает самообладания. Достоевский восхищается самообладанием Ставрогина и князя Мышкина, когда они сносят

пощечину. Он восхищается подвигом самопреодоления, совершенным Зосимою в юности. Подвиг самообладания есть для него высший подвиг, и во всяком подвиге есть самообладание.

„Прежде всякого возрождения и воскресения — самообладание“, говорит Ставрогин. „Он ищет укрепиться в убеждениях у Голубова“ (лицо в романе не фигурирующее) „а идеи Голубова суть смирение и самообладание и что Бог и царство небесное внутри нас, в самообладании, и свобода тут-же“ (Материалы к „Бесам“). К этой любимой своей идее Достоевский возвращается в Пушкинской речи; он говорит: вот „русское решение вопроса“, „проклятого вопроса“, по народной вере и правде...“ не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой, — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его“.

Но, конечно, недостаточно одного этого формирующего центра в себе, в микрокосме, хотя без него ничего не может быть сделано, без него даже религиозные порывы превращаются в падучую болезнь, или в хлыстовское радение. Необ-

ходим еще центр всекосмический, и это для Достоевского — русский Бог и русский Христос: „дайте отыскать русскому человеку это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресенье его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и праведный, мудрый и кроткий, вырастеть пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому, что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия“... (слова князя Мышкина). Этого пророчества Достоевского мы конечно не сможем проверить.

Но вот, в конце концов, мы должны спросить себя: можно ли любить русскую стихию, стихию безумия и преступления? Да, можно и должно, но она прекрасна только в самопреодолении, в самопреображении; она отвратительна в самохвальстве, в самодовольстве, в распоясанности, в стоячем болоте. Во всякой душе есть стихийность и во всякой душе есть стихия безумия, но в русской душе она сильнее, чем в какой-либо другой; и не случайно, что русский философ и психолог, С. Л. Франк, указал на значение этой стихийности в составе сознания в своей замечательной и еще не оцененной книге „Душа человека“. Термин „безумно“ есть самый распространенный на всех языках (wahnsinnig, follement) — „безумно люблю“, „безумно рад“, „безумно несчастен“ — чувства и поступки людей так часто безумны, и

особенно у нас в России. Но разве хорошо, если будут любить и радоваться только рационально, если никто ничего не будет творить из бессознательного?

В безумии есть одна странная особенность: оно родственно с фантазией, бесконечно близко к ней, почти едино. Безумие и фантазия — дети одной и той же стихии, живут в одном и том же лоне; все безумцы — фантасты, и все фантасты немного безумцы. Фантазия есть преображенное и просветленное безумие. И если нет искусства без фантазии, то значит искусству нужна стихия безумия. В ней оно зарождается. Поэт одержим манией (μανία). Это знал Платон. Художник, говорил он, творит в некотором божественном умоисступлении. Пушкин выразил эту мысль с милым юмором: „поэзия, прости Господи, должна быть глуповатой“. Творить вне священного безумия — значит творить, как Сальери. Сон, грезы, бред, — все это порождение той же стихии, родные братья безумия и фантазии. „Сновидение“ — это любимое слово всех поэтов, и вся поэзия, пожалуй, состоит из гениальных снов, сохраненных от забвения силою Мнемосюне:

„Бывало, милые предметы
Мне снились и душа моя
Их образ тайный сохранила;
Их муза после оживила“.

Из родной стихии, из стихии безумия, черпает русское искусство огненные вихри своего

вдохновения, оно преображает безумие в огнецветную фантазию, в расплавленную, или кристально-граненую красоту. А если чем и можем мы, русские, бесспорно гордиться перед западом, если можем чем покорять сердца и завоевывать народы, то это прежде всего нашим искусством: музыкой, танцем, живописью, театром, поэзией, романом.

Шпенглер правильно угадал, что только мы, русские, можем дать миру новую религию: он думает, что в наш век нужно быть немного сумасшедшим, чтобы обладать религиозной одержимостью, и он прав по своему. И еще есть нечто, связанное с той же стихией: это наш фантастический утопизм, способность внезапно вдохновляться к действию самыми безумными проэктами. Черта, которая удивляет запад и скорее пугает, чем внушает насмешку.

„Как океан объемлет шар земной,
Так наша жизнь кругом объята снами“...

Das Russentum может это сказать; das Deutschtum, пожалуй, уже нет: там все рефлексивно, аналитично, рационально.

Но есть в русской стихии и другая, страшная сторона: в безумии есть преступление. И это, конечно, ужасно. Преступление нельзя преобразить. Его можно только искупить. Но преступника можно преобразить; и в этом — высшая радость и счастье. Достоевский вскрывает здесь исконную народную веру: баба, „молодка“, видит первую улыбку своего ребенка —

„Что ты, говорит, молодка? А вот, говорит, точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит, такая-же точно бывает и у Бога радость, всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник перед Ним от всего своего сердца на молитву становится“. Это конечно князь Мышкин, рассказывает и поражается: „главнейшая мысль Христова! Простая баба! Правда, мать“...

Но нелегко достигнуть такого преображения грешника. Не все разбойники и на кресте „благоразумны“. Много преступлений гнездится во тьме стихии безумия, неискупленных и незабытых. „Власть тьмы“ — это национальная трагедия: в ней изображена русская стихия, с ея страстной жаждой покаяния. Здесь лежит объяснение того, почему величайшие русские умы, и преимущественно люди чести и эстетического чувства, могли переживать такое отвращение к русской стихии, к славянству, могли так презирать его. Нет, с другой стороны, народа, который до такой степени был-бы склонен к покаянию, к самобичеванию, к самоунижению. Русский человек боится сам себя.

Но искупление осуществляется не иначе, как путем страдания. Вот, откуда та ж а ж д а с т р а д а н и я, которую Достоевский так подчеркивал в русском человеке. В душе Ставрогина есть стихия преступления, и это она приводит его к „потребности кары, креста, всенародной казни“. И не

должно роптать и обращаться в бегство, когда это страдание приходит. В нем должно искать самообладания и самопреображения, нужно уметь увидеть в нем карму дел, извлечь из нее высшую мудрость. Это любимая мысль у Достоевского, и Толстого: „Мне отмщение и Аз воздам“.

Почему взор Достоевского так прикован к душе преступника, к сущности преступления? И у Толстого есть эта тенденция. Русская жалостливость, сентиментальность? Вовсе нет! Стихию преступности нужно осветить в русской душе, нужно до дна заглянуть в нее, чтобы преодолеть, чтобы преобразить русскую душу. Нельзя действовать только извне: законом, судом, наказанием; наивно думать, что так легко укротить стихию. Надо действовать изнутри, из центра; тем более, что есть преступность и даже глубокая, которая умеет уживаться с какими угодно уголовными кодексами.

Теперь в заключение, оторвемся от Достоевского, отойдем в сторону от его образов и философских построений, и зададим себе один тревожный вопрос: да правда ли так мощна „русская стихия“, и где ее богатыри? Была, правда, великая гора, но что, если она начнет рождать мышей? Произошло извержение русского „Этноса“, но может быть вулкан потухает и стихия охлаждается в тепловатом быту, в жалком мещанстве? как ответить на этот вопрос? здесь не может быть объективного знания; здесь все — субъективная

вера. Каждый скептик, каждый мещанин реально охлаждает русскую стихию; каждый энтуазиаст, каждый герой — ее воспламеняет. Все в том, как мы захотим переживать самих себя — как великих, или как ничтожных. Надежды не рождаются в бездейственном унынии: в нем лежит безнадежность; надежды расцветают в действии. А потому самые трезвые практики и реалисты суть хранители наших надежд, если только они рождены русской стихией, если в них есть размах, инциатива, аффект бытия, а не одна только мелкая трусливая корысть.

Аффект бытия надо хранить в себе, он жив и мощен еще в хаосе нашей жизни, в бурях нашей революции, в песнях нашей поэзии:

„Да так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет и губит!

Мы любим все — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно все — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...“

Так говорит Блок, поэт эпохи революции, воплотивший с огромной силою русскую стихию в своих двух поэмах: „Двенадцать“ и „Скифы“. Он угадал, что аффект бытия есть любовь, и что любовь, рожденная русской стихией, может быть и слепой и губительной, но хочет быть потенциаль-

но-бесконечной, всепроникающей, всемирной, хочет быть тем Эросом, который как-то залетел к нам из далекой Греции.

Русская стихия двойственна, беспокойна, не любит затишья, противоречива, всегда сразу и утверждает и отрицает; она родственна по природе этому странному богу эллинов и влечется к нему. Никто с такою силою ее не постиг; никто не выразил так ее революционной, разрушительной мощи, никто не дал о ней таких пророчеств, идущих в глубь времен, как это сделал великий Пушкин; лучше сказать невозможно:

„Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?

Вы, ветры, бури, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот.
Где ты, гроза, символ свободы?
Промчись поверх невольных вод“.